

Мара

Рассказ

— МАГАЗИН. Затвор. Выстрел. В кабуру.

Его слова — заговор, шаманство, древний языческий бубнёж, — дёргаю затвор, убираю пистолет и наклоняюсь за магазином. Тело давно всё запомнило, оно действует без меня: я лишь ощущаю, как сгибается моя поясница, я лишь чувствую холодную жёсткость магазина, я лишь слышу металлический запах, которым пропитались мои руки. Тело ещё напряжено, а в груди растёт какая-то дрожь и слабость — сладкая на вкус, как порох, который въелся в мою кожу, заполнил рот и нос, — я дышу приторным порохом, когда еду домой в метро. Мне кажется, что люди чувствуют его гнилостный запах и оглядываются на меня, — они знают, что я сделала, они знают, что со мной что-то не так. Я усмехаюсь про себя, убираю магазин в подсумок и оборачиваюсь к Паше.

Он стоит и улыбается своей лисьей улыбкой — короткий и круглый, спрятавший глаза за прозрачными стёклами очков. У него мягкая походка, мягкие доверительные жесты, чуть перекатывающийся смех. Люди тянутся к нему, точно он тёплый и приятный на ощупь. Я знаю, что это колобок, который провёл лису и сожрал

её целиком: от чёрного носа до пушистого хвоста. Я всегда безбоязненно поворачиваюсь к нему спиной — если он захочет мне навредить, я всё равно ничего не смогу сделать. Я улыбаюсь Паше в ответ.

— Ну, чего стоишь? Отбой к мишени, пошли посмотрим, как постреляла.

Мишень стоит в конце галереи — мелкая, в полтора раза меньше стандартной, — я стреляла сегодня новым хватом и, мне кажется, половину выпустила в молоко. Перепонка большого пальца болит, я тру покрасневшую кожу, а под ногами гильзы — их много, они покрывают пол, и порой я приношу их домой в подошве сапог. Паша после занятий сметает гильзы огромной красной щёткой и выбрасывает в чёрное мусорное ведро.

Мы подходим к мишени — «альфа» пробита кучно и красиво, и лишь один выстрел — дёрнула рукой, разбила хват, я почувствовала — улетел в «чарли». Паша смотрит на меня лукаво — пушистый опасный зверь — и улыбается, ловя мой довольный выдох. Мне кажется, что он питается этим — удовольствием, наслаждением, кайфом, который даёт каждый удачный выстрел. Тело вновь начинает дрожать, и я поглаживаю чёрное пистолетное нутро — оружие теплеет под пальцами, я незаметно обхватываю рукоять.

— Нравится? — Паша проводит рукой по мишени и останавливает тёмный палец на большой пробоине. Я рассматриваю её, касаюсь «Викинга» и улыбаюсь спокойно и довольно, — я уверена, что никто не увидит. Кроме Паши. Но ему можно, он свой, он никогда не спрашивал меня, зачем я сюда прихожу, — в отличие от людей в метро, он действительно знает, что я наделала. Я ничего ему не говорила, но он щурит глаза и подмигивает мне, когда никого нет рядом.

— Три? — я не могу понять, дырка рваная и слишком большая для трёх попаданий, но мне хочется, чтобы это подтвердил он. Я привыкла не доверять тому, что вижу.

— Четыре. Красиво попала — я смотрел. Нравится? — он всё глядит на меня, не отводя глаз, — очки чуть сползли на нос, и теперь я вижу тёмную пустоту его мягкого взгляда — Паша умный, он прячет свои настоящие глаза под очками, и люди перестают бояться. Глупые. Лиса тоже думала, что колобок хочет спеть ей песенку.

— Ага, — я выдыхаю это, слышу, как довольно ухмыляется Паша, и смотрю на дыру в мишени. Я не могу удержаться: протягиваю к ней руку и обвожу неровные края пальцем. Мне хочется ощутить кожей мягкую, трепещущую плоть — я отрываю кусочек картона и прячу его в карман.

По дороге домой я буду часто теревить обрывков в руках — гладить подушечками пальцев, прикрыв глаза и изображая сон, — а потом выброшу в стоящее у эскалатора чёрное ведро. Мой трофей спрячется под проездными билетами, и никто ничего не узнает.

Паша делает вид, что не видит, как я растаскиваю мишени на бумажки.

* * *

Я просыпаюсь, запутавшись во влажной, пахнущей сыростью простыне. Она обвивает тело, как длинный шарф в детстве — душит, мешает, я сдираю его раздражённо и открываю морозу слабое болезненное горло, — простыня провоняла моим потом, я выбираюсь из неё, как змея, долго и мучительно, а потом комкаю и бросаю на пол. Надо сменить бельё.

Дома жарко. Я в одной футболке, босая, иду на кухню — под ногами скрипит крашенный коричневой краской пол. Он старый, и шляпки гвоздей торчат из него тут и там, я задеваю их пальцами и спотыкаюсь о загнутый палас — я удивительно неуклюжа и в детстве вечно ходила в синяках. Теперь я рассматриваю каждый синяк и пытаюсь вспомнить, откуда он взялся.

На кухне темно, за окном подвывает и бьёт в стёкла ветер, я нахожу графин и пью из горла — крышка стоит неровно, и кипячёная, вкусная со сна вода заликает мне подбородок и грудь. Отрываю от кожи намокшую футболку и пытаюсь её отжать — она только мнётся и становится противно-сырой и холодной. Я держу её за ворот, чтобы не касалась тела, и смотрю в окно. Кухня маленькая, от окна чуть дует, а на карнизе висят голубые занавески — надо бы постирать, но мне всё равно: я люблю пыльный запах и ненавижу стирку. Я утыкаюсь лбом в холодное стекло и посасываю край футболки, он мокро-тканевый на вкус — мне нравится. Я пытаюсь вспомнить.

Тогда было жарко. Простыня каждый раз вся пропитывается испариной, даже если в квартире холодно так, что не высунуть из-под одеяла руки, — я просыпаюсь от духоты и жажды, и капли пота застывают на моих бровях. Тогда было жарко — это я знаю точно.

И было солнечно. И был полдень или около двух — ну это, конечно, если вообще что-то было, а если не было — то была ночь и я не могу сказать который час. Но, если всё же было, то это было в полуденное пекло — майка, горьковато-солёная, прилипает к телу, солнце жжёт обгоревшие плечи, их хочется почесать, но больно и кожа красная, воспалённая, я морщусь и касаюсь головы. Волосы горячие, как качели в парке, я дотрагиваюсь до корней и почти обжигаю пальцы — голова медно-железная, раскалённая и мутная, я плохо соображаю и хватаю воздух ртом, как рыба — пробитая крючком её голова такая же бесполезная, как и моя. Я хотела бы стать рыбой — пусть даже той, полудохлой, с окровавленной губой — и нырнуть в прохладную воду, погрузиться прямо в одежду и опуститься на самое дно. Коснуться песка, сесть и дышать пузырьками — я сворачиваю к речке.

Я спускаюсь вниз по крутой железной трубе — она жжёт мои ноги даже через босоножки, я чувствую жар, поднимающийся от щиколоток вверх, мне кажется, что труба сейчас станет мягкой и прогнётся подо мною и я оставлю в ней свой плоский узкий след. Как отпечатки, что на асфальте, — они раздражают и в то же время хочется также: наступить в ещё незатвердевший цемент и оставить отметину в его податливом теле — я не понимала этого тогда, но уже хотела, как мороженое или новую игрушку.

Вдоль трубы — мелкая, колючая степная трава, а оттуда вечный стрёкот и шипение. Я хочу, чтобы это были змеи или хотя бы ящерицы, — в песке и сухой почве много трещин, мне хочется,

чтобы они там были. Я вижу лишь цветастых насекомых, которые взлетают напуганные звуком моих шагов. Мне стыдно, но я так вру себе, — я мечтаю растрожить их семейство, чтобы они сновали туда-сюда, не зная покоя, и я могла разбить их мирную жизнь одним громким щелчком. Жучки прыгают: я опускаю глаза, но улыбаюсь.

Он стоит у реки, на тяжёлой бетонной платформе с торчащими из неё ржавыми железками — я порой хватаюсь за эти железки, пытаюсь вытащить, сдираю кожу и крашу пальцы ржавчиной — их не выдернуть, и я не знаю, зачем вообще это делаю.

Я пытаюсь вспомнить его имя, но это сложнее всего. Саня? Петя? Ваня? Имена растворяются, как ржавчина в речной воде, — я смываю бурые следы, вода мутнеет, но проясняется через мгновение. Он белёсый, с невыразительным лицом — кажется, у него были веснушки, но, может быть, я выдумала их спустя время — голый по пояс, чёрный от загара, в дурацких шлёпанцах и шортах, как у всех.

Я отрываюсь на мгновение от стекла и смотрю на заснеженную улицу. Если это всё же было, то, может, дело в шлёпанцах? Я никогда не умела в них ходить — они слетали с ног, и я падала и набивала новые синяки. Может, я сделала это из зависти? Должна же быть причина... Или это было из-за шорт — сошедших с конвейера, где делают шорты для всех одиннадцатилетних мальчишек, — может, меня раздражала эта одинаковость, может, поэтому я не могла запомнить их имена? Все говорят, что подобному должна быть причина. В фильмах. В книгах. Все говорят.

Мне кажется, не было причины. Мне кажется, я просто захотела.

Я облизываю губы, вновь прижимаюсь лбом к запотевшему стеклу и закрываю глаза. Я не знаю, возбуждение это или страх, — я просто хочу попробовать вспомнить до конца.

Я залезаю на платформу — обдираю колени, но это нестрашно, они всё время покрыты ссадинами. Я чуть хмурюсь ему — на детских фотографиях у меня всегда такое лицо, насупленное, с надутыми губами и собранными в морщинку бровями, — я не помню, говорили ли мы хоть о чём-нибудь. Я ему улыбнулась? Должна была улыбнуться — чтобы успокоить. Или не должна? Я не помню.

Зато помню запах его жжённой на солнце кожи, она пропахла песком и загаром, мне нравится этот запах — его пальцы пахнут так, когда он пытается выцарапать мне глаза, а я давлю ему на горло и смотрю, как он хрипит под моими руками.

Я мою руки в речке. Вода тёплая, я сижу на краю берега, и река чуть захлёстывает мои босоножки — ногам приятно и немного щекотно. От рук расходятся рыжие следы, но я не могу понять, кровь это или ржавчина. Я почти уверена, что ржавчина, — я помню, как сломалось его горло под моими руками — я задушила его, а не забила камнями.

Если задушила.

Я морщусь и всё сильнее вжимаюсь лбом в окно — я слышу, как оно звенит от давления и вот-вот лопнет — было или не было? Ведь это могло присниться? Я любила ужастики в детстве, я часто смотрела вечерние новости — я ведь могла всё это выдумать?

А его кожа пахла загаром — такой реальный запах, — и от солнца его шея была почти такой же горячей, как камень под нами. Я не знаю.

В кухне загорается свет, и я слепну — под веками пляшут радуги, так бывает, если посмотреть на солнце или от сильной жары, — я отрываю глаза и оборачиваюсь к маме, шурящейся на пороге.

— Ты чего встала? — Я подхожу и касаюсь губами её виска. — Пить хочешь? Прости, я опять пролила воду из графина, — мама мягкая и тёплая, мне нравится её сонный запах и то, что она ничего не знает.

Я захожу в свою комнату, поднимаю с пола остывшую простыню и заворачиваюсь в кокон — тело дрожит, я не могу унять эту дрожь, а пальцы сведены судорогой.

* * *

Глухой, ломающийся хруст — я оборачиваюсь так резко, что расплёскиваю горячий чай — на джинсы и новый линолеум, под джинсами колготки, и я не чувствую боли — разломанная куриная кость летит в картонную тарелку. Парень с шишковатым, крупным лицом смотрит на меня изумлённо и чуть растерянно:

— Мар, ты чего?

Я не знаю, какой у меня взгляд, но на всякий случай отвожу глаза. Улыбаюсь — чуть приподняв уголки рта, расслабленно. Я понимаю, что не могу вспомнить его имя.

— Ничего. Вкусная курица? — Это обычная курица в лаваше из палатки. Мы порой покупали её летом — горячая, в пакете и фольге, я несла её до дома, и почему-то именно летом, в жару, её хотелось ещё сильнее — но никто из нас раньше не разламывал кости. Я смотрю в его тарелку и жалею, что там осталось лишь мясо.

Я хотела бы снова услышать звук. Мне кажется, что он — такой же. Интересно, что он подумает, если я попрошу его разломать ещё пару костей? Я усмехаюсь и растираю лужу чая ботинком.

— Да ничего так. Когда столько не жрал, вообще шикарно, — парень коротко гогочет и отламывает кусок курицы, заворачивая его в лаваш, — мясо рвётся волокнами, в детстве я обожала разламывать его так, медленно, и отправлять каждую полоску отдельно в рот. Так мне казалось вкуснее.

Я смотрю на мясо, на короткие толстоватые пальцы — в курином жиру и кусочках лаваша, на то, как парень закидывает курицу в рот и жуёт, — под его кожей ходят желваки, они перекатываются, это почти красиво, мне всегда нравилось смотреть на движения мышц. Я слышу хруст. Повторяю его в своей голове раз за разом, провожу языком по нёбу, слизывая запах этого хруста. Нёбо — сладковатое, я стреляла сейчас, и оно пропиталось порохом. Мне кажется, что звук верен. Я смотрю, как движется крупный круглый кадык, когда безымянный парень делает глубокий глоток.

— Мара, а я показывал тебе ножи? — Я оглядываюсь, Паша смотрит на меня, сощурив глаза в улыбке. Он сидит за столом и заваривает себе чай, то опуская, то вновь вынимая пакетик. Тянет за рафинированным сахаром — белые кубики в красной коробке — и не переставая глядит на меня. Кивает на печеньё, мол, почему не берёшь и, мне кажется — я точно знаю, что мне кажется, — на секунду прикрывает правый глаз, подмигивая мне. Я уверена, что парень с курицей — чёрт, ну как же его зовут? — ничего не видел. Беру печеньё, окунаю его в чай и откусываю сладкую, распадающуюся мякоть.

— Нет. Покажи, — Паша улыбается шире, кивает и, чуть отпив ещё бледный, не заварившийся чай, идёт за ножами. Он что-то говорит: его голос, короткие шутки — парень рядом смеётся и всё жуёт свою курицу — я почти не вслушиваюсь в Пашины слова. Мне не нужно. Остро пахнет пропечённым куриным мясом — или мне только кажется? — а я думаю о том, что Паша точно знает. Теперь я уверена в этом. Он возит в подсобке, но я телом чувствую его внимательный взгляд. Я откусываю печеньё, гляжу на парня рядом с собой и улыбаюсь ему. Он улыбается в ответ — наверное, думает, что это из-за Пашиной шутки, — я очень быстро перевожу взгляд на его горло и утыкаюсь в чашку. Я ощущаю своё тело — свои руки, согреваемые горячей керамикой, свои ноги с пятном от чая на

джинсах, свои лёгкие, ровно и мерно качающие кислород, — я пытаюсь поймать свои мысли. Они ускользают от меня, точно пропитанные густым куриным жиром, я не понимаю, чего я хочу. Я вновь вызываю в памяти ломкий хруст, я закрываю, будто бы устало, глаза и представляю крепкую мужскую шею. Сильную, короткую, мощную, как у быка, со вздутыми жилами. Хруст и шея. Шея и хруст. Круглый кадык под загорелой плотной кожей. Чего я хочу? Я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Мне кажется, я хочу впиться в неё руками. Я хочу давить пальцами на выпирающую шишку кадыка. Я хочу этого? Паша думает, что хочу.

Он возвращается в комнату с тканевым мешком, я открываю глаза и смотрю Паше прямо в очки, пытаюсь различить зрачок. Мне кажется, у него нет зрачка. Только чёрный провал, дырка, точно кто-то вырезал ровный кружок в его глазу. Точно кто-то забыл вставить туда чёрную заплатку, чтобы он был похож на человека. И поэтому Паше приходится носить очки. Это так глупо, что я допиваю чай в один глоток и поднимаюсь с дивана, — Паша раскладывает ножи на столе, рассказывая что-то.

Я чувствую, как его беззрачковый глаз пристально и неотступно скользит по мне взглядом.

Паша протягивает мне ножи, из которых выглядывает прорезиненная, кажется, рукоять — нож тяжёлый, он оттягивает мне руку, но тяжесть приятная, не давящая, — я вытаскиваю лезвие из плотной кожи и долго смотрю на его ровный холодный блеск. Перехватываю нож в руке — Паша не двигается и не говорит — это редко, обычно он болтает без умолку — и смотрит на мои пальцы. Внимательно, так, пожалуй, родители смотрят на своих детей, которые только начинают ходить. Мне становится легко и спокойно — я чувствую себя абсолютно нормальной. Люди делают эти ножи. Этими ножами не режут мясо. Ими протыкают людей. Люди протыкают людей. Эта мысль убаюкивает меня, греет, как не грел только что выпитый чай.

Паша касается острия, проводит осторожно пальцем — у него грубая, намозоленная кожа, я не боюсь, что он порежется, — и говорит, что кончик следует затупить. Потому что иначе он может застрять в кости. Я пытаюсь представить, как нож заходит в плоть, глубоко, по самую гарду — тело твёрже, чем подтаявшее масло или нет? — и как густая, почти чёрная кровь заливают рукоять. Но если она заливают рукоять, то, значит, и мои пальцы. Это ничего. Свежая кровь легко смывается. Я буду сидеть на берегу и мыть ру-

ки в речке — а вода унесёт этот ржавый цвет, он запутается в водорослях, в высокой речной траве, в камышах, и камыши будут расти, напоённые этой кровью. И всё будет нормально. Рукоять — прорезинена, кровь стечёт и не оставит следов.

Я поднимаю глаза от лезвия — Паша стоит так близко, что я вижу его тёмные дурные глаза. Я знаю, что они дурные, меня не обманешь тонким стеклом. Он улыбается. Он знает, о чём я думаю. И нам не надо ничего говорить. Я провожу, не глядя, ладонью по лезвию, я чувствую кожей ровную гладкую сталь. Она кажется мне почти тёплой.

Я смотрю в Пашины пустые глаза — зрачка там нет, нет, нет — и улыбаюсь, не разжимая губ.

Мы оба знаем, что люди придумали ножи, чтобы убивать людей.

* * *

Когда я захожу в метро — тяжёлая стеклянная дверь, я давлию на неё локтем, налегаю, и она поддаётся, — то ещё чувствую слабый запах металла. Металл и чуть сладковатая приторность — я подношу к лицу руку, но запах не становится острее. Наверно, это иллюзия, обонятельный обман, но некоторое время — недолго, совсем недолго, до первого внимательного взгляда — мне нравится думать, что этот запах просто впитался в меня. Запутался в волосах — как большой крылатый муравей — и теперь будет биться в них, порой обдавая меня своим гнилостным привкусом.

Гнилостный, чуть похожий на дух забродивших — с мягкой, подтекающей шкуркой — персиков. Я не знаю, почему мне вообще нравится такая гадость. Это удовольствие — замешанное на подступающей к горлу тошноте — напоминает мне, как в детстве мы разглядывали труп разлагающейся кошки. Она лежала в коробке, в её теле — точно в плодородной, чернозёмной почве — копошились черви, и она вся была засижена мухами, которые жужжали, а я всё боялась, что они сядут на мои голые, неприкрытые руки. Мы все боялись, наверное. Но не отходили. Отводили глаза, морщили носы — вдыхая редко и неглубоко, — но то и дело бросали взгляд на пустые, заполненные светловатой жижей кошачьи глазницы — из них периодически вылезали мухи и подлетали прямо к нашим лицам.

Мы отшатывались, но оставались стоять. Не знаю, может быть, ждали, когда мухи всё-таки сядут к нам на лицо — у самых дрожащих глаз.

Спугнула нас от кошки бабка, проверявшая свои цветы в палисаднике. А когда на следую-

щий день мы вновь вернулись туда — коробки уже не было.

Я спускаюсь с эскалатора и, уже заворачивая за угол, слышу старое синхронное жужжание тех мух.

У стены, шагах в семи от меня, лежит длинное, накрытое одеялом тело. Одеяло плотное, шерстяное, серое, похожее на те, что лежали раньше в поездах — на третьей полке для багажа среди желтоватых матрасов и подушек. Я никогда не укрывалась этими одеялами — они казались мне почему-то намного противнее жирных и чёрных трупных мух.

Одеяло короткое, и из-под него торчат длинные ноги в больших коричневых ботинках. Это тоже похоже на поезд — там вечно свешивались сверху чьи-то не вместившиеся пятки. Я перевожу взгляд на проносящийся мимо состав — двери закрылись, когда я только вышла из-за угла, — и думаю, что тот человек с длинными ногами тоже мог не любить эти пыльные тяжёлые полотна. Но сейчас изменить он уже равным счётом ничего не может. Меня почему-то успокаивает эта мысль.

Когда хвост грохочущего поезда исчезает в тоннеле, я оглядываю платформу. Уже поздно — слишком поздно, пока я шла по тёмной, морозящей мелким дождём улице, едва удерживала глаза открытыми, — и людей на станции мало. Это хорошо. Народ рассеялся по платформе так, чтобы быть как можно дальше от тела, но в то же время не напоминать потерявшуюся отару овец.

Мне нужно в другой конец зала к первому вагону. Что-то в самой глубине меня — я едва осознаю это, отстранённо, точно это не мои чувства — радуется тому, что не придётся выдумывать повода пройти мимо тела. Я могу, нет — мне *надо* — туда пойти, чтобы после не тащиться через весь зал на моей станции. А значит, я могу — да, здесь уже *могу* — посмотреть на тело, когда буду проходить мимо него. Рядом с трупом стоят два молодых сержантика — я даже отсюда вижу их новые блестящие металлические нашивки на плечах, но один взгляд — это абсолютно нормально. Все так делают. Никто не может удержаться и не заглянуть в жужжащую, крепко пахнущую коробку.

Я иду по платформе и цепляю взглядом сразу всё — жёлтая сумка с блестящими значками, грязный подол у светлого плаща, красные цифры над тоннелем. А ещё ботинки. Большие, коричневые ботинки — размер сорок второй или сорок третий — с налипшей на них плотной осенней грязью. Ботинки с боковой молнией,

а чуть выше них — чёрные высокие носки. Недостаточно высокие: я вижу тонкую полоску кожи — бледную, покрытую густыми волосами — между носками и брюками. Одна штанина задралась — когда он упал или медленно с посвистом оседал на землю? — и теперь его голая, обнажённая кожа — совсем чуть-чуть, но этого достаточно — торчит у всех на виду. А его лица — не видно. Точно его длинные мёртвые ноги куда пристойней его мёртвого лица.

Я прохожу мимо тела, глядя на свои кроссовки. На носке одного из них налип комок грязи с влажным помятым осенним листом. Когда я останавливаюсь в конце платформы, то пытаюсь счистить эту грязь другой ногой. Без толку — я лишь сильнее размазываю её по обуви. Мягкий, оборванный лист остаётся лежать на красноватом гранитном полу.

Я не смотрю на тело — оно лежит по правую руку от меня, уже значительно дальше семи шагов, — а гляжу прямо перед собой и жду, когда появится поезд. Я не могу никак перестать думать об этих дурацких ботинках. С чуть зауженным носом, из красивой приятно-коричневой кожи. Они всё мелькают перед глазами — когда я моргаю, то на секунду они сменяются темнотой — и это напоминает быстрое перелистывание блокнота, где на всех страницах в одном и том же месте один и тот же рисунок. Один и тот же — но чуть изменённый. И чем дальше перелистываются страницы, тем сильнее он меняется. Я не успеваю понять, когда коричневые большие ботинки превращаются в детские шлёпки. В этот момент я закрываю глаза, чтобы не посмотреть направо. Мне хочется убедиться, что там лежит большое и длинное тело. Большое. Длинное. А не маленькая детская фигурка. Мне становится жарко — в ушах стучит этот жар, и я дышу часто, как большая мохнатая собака, — у меня начинают чесаться раздражённые плечи, и волосы — чуть влажные после ночного дождя — нагреваются, как в бане. Я хочу поднять руку, чтобы почувствовать, как от моей головы идёт пар.

Я открываю глаза и понимаю, что в ушах стучит не жар, а колёса подъезжающего состава. Двери открываются, я срываюсь в открытый проём — *не смотрю, не смотрю, не смотрю* — и плюхаюсь на первое свободное место у края. Людей слишком мало — никто не стоит, — и я злюсь, что окна и прозрачные двери не закрыты ничьими телами. Я жду, чуть подёргивая левой ногой и прикусывая губу, — к дому она набухнет, хотя так и не станет кровоточить, — но, когда поезд трогается, я всё же резко встаю, вщурив

ваясь в окно. Поздно — я вижу лишь тёмно-синюю спину молоденького сержанта и его золотые нашивки. Мне не разглядеть тела, каким бы оно — длинным и взрослым или маленьким и детским — ни было. Вагон грохоча въезжает в тёмный тоннель, и всё остаётся далеко — в свете и сухом станционном воздухе.

Я сажусь обратно — надо бы сделать вид, что я разглядывала список станций, но меня ещё трясёт — закрываю лицо ладонями и выдыхаю, шумно, через рот. Прямо передо мной — я вижу его через разведённые пальцы — спит парень, откинув назад голову и приоткрыв тонкогубый рот. Его наушники чёрной удавкой запутались у него на шее. Чуть ниже кадыка — где нелепо торчит светлый клочок длинных волос. Я смотрю на него долго и ни о чём не думая. Мыслей нет — я прочёсываю пальцами волосы, взлохмачиваю их и облизываю губы, качая головой.

Это слишком. Для одного вечера — это уже перевес. Моих мыслей не хватает на этот пустой вагон, грохочущий в темноте, на этого парня с наушниками, на его шею со смешным, юношеским клоком волос. Хватит. Хватит-хватит-хватит-хватит. Я не хочу больше вглядываться в чужие мёртвые тела, я не хочу больше сомневаться в том, что я вижу, я не хочу больше хотеть — точно хотеть? — того, чего хотеть не положено. Мне не нравится металлический запах в моих волосах — тошнота теперь у самого горла и вот-вот рвотой выльется изо рта. Кто-то наконец должен унести эту пропахшую гнилью коробку.

Когда поезд останавливается на следующей станции, я выхожу и пропускаю несколько составов, прежде чем поехать домой.

* * *

Я очень хочу спать. Настолько хочу, что уже перестала это ощущать. Я точно больше не нуждаюсь во сне — потребность пропала час, а может быть, два назад, — теперь я лишь знаю, что мне нужно уснуть. Мои мысли — маленькие фруктовые мошки в сладковатых, оставленных недосыпом следах. Они всё бьются и носятся — мелкие, противные, кусачие — надо мной, а после полетят к невыброшенному пакету с мусором. Постель уже слишком мятая и тёплая, но я всё равно переворачиваюсь на другой бок, пытаясь отыскать прохладное место. Я слишком долго лежу, и мои глаза привыкли к темноте — я чётко различаю все предметы, и оттого в комнате кажется светло. Нащупываю одеяло — тёплое, какое же оно мерзко-тёплое — и натяги-

ваю его, накрываясь с головой. Я не ездила к Паше уже пару месяцев.

Под одеялом душно. Моей дурной неспящей головой я понимаю, что воздуха достаточно — тело не верит моей голове и требует больше кислорода. Немного свежести, немного прохлады. Прохлады, конечно, не будет — я излежала уже всю эту кровать, — но хотя бы свежести, больше воздуха, откинуть такое жаркое одеяло — это уже будет очень здорово. Я знаю, что тогда станет слишком светло и я точно не усну, — а потому продолжаю лежать в духоте. У меня закладывает нос, и я начинаю дышать ртом. От этого сохнут губы. А когда я облизываю их — сразу хочется сделать вдох. Это замкнутый круг — но я лишь сильнее закрываю глаза и пытаюсь провалиться в ещё более тёмную черноту. Мне *нужно* наконец заснуть.

Порой, когда Паша звонит, я беру телефон и подолгу смотрю на светящийся экран, убрав звук. Мне неловко, и это чувство держится ещё несколько дней — пока я натыкаюсь на его красный пропущенный вызов среди входящих. Я знаю, что поступаю правильно: я должна всё же унести — выбросить, закопать, зарыть — эту дурную коробку. Металла в моих волосах больше нет, но теперь есть тёплая кровать — и отвратительная нехватка сна. Я стала ещё более неуклюжей и то и дело натыкаюсь на стены.

Я лежу под одеялом, дышу ртом и думаю, что больше не выдержу. Что сейчас сорву эту чёртову простыню. Сейчас. Прямо сейчас.

Когда я наконец тянусь к одеялу, я понимаю, что его нет. Мне жарко из-за тесного ворота шерстяного свитера — я не люблю шерстяные вещи, они колючие, но этот ещё можно терпеть — я сижу в гримёрке, и мне где-то девять лет. Может, чуть больше — я не знаю: мне всегда давали меньше, чем было на самом деле.

В гримёрке пахнет табаком. Это двойной запах: старый, ввевшийся в комнату, исходящий ото всего — от зеркал, от шкафов, даже от моего стула; и новый, растворяющийся сероватым облаком над пепельницей. Я ненавижу этот запах — от него чешется нос и хочется чихать, — но я продолжаю сидеть на стуле и, когда отец оборачивается ко мне, отрицательно качаю головой. Нет, мне не пахнет, всё хорошо, продолжайте.

В комнате трое — или же четверо, пятеро — мужчин. И мой папа. Быть может, он один из этих трёх-четырёх-пяти, а может, идёт отдельным счётом. Я не знаю, когда я пытаюсь их считать, они плывут перед глазами и растворяются

вместе с табачным дымом. Я думаю, что это от недосыпа — на часах уже поздно и мне давно пора спать. Или хотя бы вернуться домой. Но мы сидим в этой гримёрке, и, когда папа в очередной раз оборачивается, я всё также отрицательно качаю головой. Нет-нет, всё правда нормально, я не устала. Совсем-совсем не устала. Когда он улыбается и отворачивается — я слышу смех и мужские голоса, — я тоже улыбаюсь в ответ.

Я не знаю, почему я это делаю. Мне надо сказать, что я устала, что нас ждут дома, что я хочу спать, и тогда мой папа — мой милый, милый папа, которого я так люблю, — соберётся, попросится, и мы поедem домой. Я точно знаю, что так будет, но почему-то — почему? почему? почему? — всё равно этого не делаю. Я хочу, чтобы мы сидели до самых последних сроков, когда отец взглянет на часы — или ему позвонят — и сам повезёт меня домой.

Наверное, я думала тогда, что так — я показываю свою взрослость. Мне нравилось думать, что эти молодые — но уже очень взрослые для меня девятилетней — мужики воспринимают меня как взрослую. Не настолько, чтобы ругаться при мне матом, но — всё же, всё же, всё же — достаточно взрослую, чтобы принимать решения. Я действительно верила в эти свои девять лет, что это была единственная причина? Действительно просто хотела казаться взрослой? Нет, нет, я помню то сосущее чувство неправомерности, когда я качала головой. Такое омерзительно-приятное чувство. Я знала, что это нехорошо. И я понимала — мельком, неосознанно, глубоко внутри, — что мне это нравится.

Мне нравилось сидеть в этой пропахшей сигаретами комнате, среди этих незнакомых папиных приятелей — они не виделись много лет, им же нужно поговорить! — и чують внизу, в самой глубине, что я поступаю плохо. Отвратительно-плохо, мерзко. Я вру, я готова даже тянуть время, я знаю, что папе достанется по приезду, что бабушка на него накричит, а я буду лежать, уткнувшись в прохладную свежую подушку, и щуриться от удовольствия. Когда бабушка будет меня раздевать, то будет сетовать, как же я, наверно, устала. А я буду кивать ей в ответ — и становиться несчастным ребёнком, которого нужно уложить спать и пожалеть.

Я хочу подняться со стула. Встать, потянуть папу за рукав — мне нравятся его рубашки и тёплый, не такой, как в гримёрке, запах — сказать, что хочу домой. Я та, что лежит в слишком тёплой и мятой постели, очень этого хочу. Я знаю, что так будет правильно. И хотя бы с папой —

ну, хотя бы с ним — я должна поступить правильно. Мы поедem домой, и никто не будет кричать — может, поворчит немного, — и папе не будет стыдно, и я не буду жмуриться от наслаждения всей этой неправильностью. Я хотела бы сделать всё это так. Хотя бы сейчас. Хотя бы пока я в этом душном и жарком свитере, а не в тонкой, летней маечке под палящим солнцем.

Когда я пытаюсь позвать папу, у меня пропадает голос. В этом теле — у меня нет никаких прав. Я не могу изменить то, что здесь происходит. Я не смогу изменить того, что произойдет на берегу реки. Маленькая девятилетняя девочка веселится от своей проказы, и я никак — прости, папа, никак-никак-никак — не могу ей помешать.

Я плачу — правда плачу? — от осознания своей собственной мерзости. Я маленькая — сижу у коробки на коленях — и долго, замороженно в неё смотрю. Мухи жужжат, и я не могу ничего поменять.

Мне жарко. Мне душно. Я тянусь к жёсткому воротнику свитера — завернуть, оттянуть его хоть немного — и натываюсь на голое горло. Я в своей слишком тёплой постели, у меня заложен нос, а над головой — одеяло. Я откидываю его и дышу часто и глубоко свежим прохладным воздухом.

Мне кажется, что я заревела всю подушку, — я провожу по щекам, но они сухие, как и ткань под моей щекой. Я подношу руку ко рту, морщусь, прикусываю кожу — слёз нет, и я вспоминаю, что уже очень давно не рыдала.

Я хотела бы позвонить отцу — но на часах пять утра, он вряд ли вспомнит, о чём я говорю, — сто лет прошло, и это ведь такая глупость — а я не смогу извиниться.

Потому что воняющая дохлятиной коробка стоит прямо у моей кровати, и жужжание мух всё равно перекроет мой голос.

* * *

Капля пота стекает по моему лбу. Она течёт вниз от мокрых, вымытых волос к скуле, проходит рядом с ухом — мне щекотно, я хочу её стряхнуть, но всё равно не двигаюсь, — доходит до подбородка и, повисев там недолго, падает вниз. Я краем глаза могу увидеть порождённое ею движение — она разбивается о мою грудь и рассеивается мелкими брызгами в горячей, обволакивающей меня воде. Когда я закрываю глаза, то почти растворяюсь в ванне — мне кажется, что кто-то придёт, выдернет затычку и меня засосёт вместе с грязноватой мыльной водой в водопровод. Это бы всё упростило, и не-

долго — короткое мгновение, пока я действительно верю, что растворилась — мне этого хочется. Дверь открывается, и вместе с её щелчком я открываю глаза.

На пороге мама — в тёплом мягком домашнем костюме, — она кивает мне, и я понимаю, что всё же не растворилась в жаркой воде. Я даже не могу расстроиться, здесь слишком душно, чтобы думать и реагировать — а сквозняк от открытой двери лишь ещё сильнее меня запутывает. Мама стоит рядом и собирает с сушилки чистые вещи.

Мне нравится лежать и смотреть на неё — я что-то произношу, и она говорит мне в ответ, — я хотела бы снова быть в её чреве, горячем и пульсирующем, где нет неправильных мыслей и нехороших людей. Мне хочется слышать равномерное движение околоплодных вод — мне кажется, оно перекроет невыносимое жужжание мух. Если я буду в мамином чреве — я никогда не смогу спуститься к той реке.

— А тебе что снится? — вопрос выбивает меня. Я некоторое время молчу, всё ещё глядя на мамыны руки, перебирающие бельё. Мама говорила о своих снах. Вот откуда вопрос. Она говорила о своих снах. Мне хочется коснуться её спины.

— *Мне снятся мальчики, которых я душу на берегу реки, мама. Мне снятся мёртвые мальчики.*

Я вынимаю руку из воды и перекладываю её на бортик:

— Ничего. Я не помню, что мне снится, ты же знаешь, — я смотрю на её спину, а затем отворачиваюсь и начинаю разглядывать ванную. Мне необязательно было врать. Я могла бы коснуться её и сказать правду — или только коснуться, или только сказать, — мама бы насмешливо фыркнула. Я думаю, что она верит, что я — хороший человек. Или хотя бы — не плохой. Я надеюсь, что она в это верит. Мне хотелось бы спросить её об этом — рассказать о своих снах и спросить, но я никогда, даже в детстве, никому не рассказывала своих кошмаров. И мне не хочется её расстраивать. Не хочется ломать её тёплый, ничего не знающий образ. Даже если она догадывается, что со мной что-то не так, то умело прячет это от моих глаз. А ещё...

— *Я не уверена, что существуют плохие люди, мама. Я не уверена, что они существуют.*

В ванной становится прохладней — мама принесла с собой этот свежий, незапотевший воздух. Я понимаю, что надо вылезать — вытереться, спустить воду и, может, позвать маму смотреть фильм — мама собирает все вещи, оглядывает комнату, проверяя, и выходит из ванной прежде, чем я успеваю её остановить. Она плотно закры-

вает за собой дверь, и свежего воздуха больше нет — он точно весь вместе с ней вышел.

Я откидываю голову и поудобнее вытягиваюсь в ванне. Моё тело лениво и распарено жаром. Я вижу цветные молнии, сверкающие под моими веками.

Я знаю, что не сплю. Я всё ещё чувствую горячую воду и свои распаренные морщинистые пальцы. Но ещё я чувствую прохладную свежую постель подо мной — а может, большую бетонную плиту, а может, маленькую гримёрку или красноватый гранитный пол — и чувствую своими маленькими, слишком маленькими, неральными пальцами чужую шею. Я качаюсь между сном — чужое, ещё тёплое горло — и явью — наполненная жаром ванна, как качаюсь, лёжа в неторопливо текущей реке: вода держит меня, но я в любое мгновение могу погрузиться с головой и медленно уйти на самое дно.

Я кажусь себе маленькой. Скрюченной, сжатой, злобноглазой — точно меня только достали из материнского чрева. Но мои маленькие ручки — сильны, а ещё я давлю на грудь этому мальчишке своими коленями — я теперь маленькая и легко умещаюсь у него на груди. Я вижу мелкие, почти незаметные на чёрной коже веснушки — я могу разглядеть его светлые, невидимые ресницы. Он открывает глаза — я думала, что уже мёртвые глаза, я пугаюсь — или всё же радуюсь? — и с силой сжимаю его горло. Мои маленькие пальчики продавливают его кожу и хрящи — они мнутся легко и приятно, как разогретый пластилин.

Я могла бы прекратить. Я чувствую, что могла бы прекратить, но эта маленькая я — не совсем я, и потому я позволяю это. Я допускаю это. Это маленькое существо — скорченное, давящее ему на грудь своими острыми коленками — может делать что хочет. Оно не похоже на меня, мне не будет стыдно за то, что оно делает.

Существо чувствует, что я не против. Существо радуется этому. И я радуюсь вместе с ним. За него. Я понимаю, что радуюсь за него, когда мои — или всё-таки её? — пальцы сжимают уже папино горло. Я не могу вспомнить, как давно лицо мальчишки сменилось лицом отца, как давно я его душу. Я хотела бы это прекратить, но мои пальцы — мои, точно мои, не чужие — увязают в его горле, как в застывающей глине. Мне не вытащить их — я дёргаю руками, но приношу лишь больше вреда.

Я не хочу на это смотреть, я поднимаю глаза и вижу гладкую поверхность воды — чуть мутную, как запотевшее зеркало. В ней отражается

это злобное существо, и у него почему-то — моё лицо. Я кричу — но вместо крика слышу шипение и сдавленный визг. Он вырывается из моего рта вместо крика и слов, точно я дикое бессловесное животное. Сердце поднимается к самому горлу — бьётся нервно и сильно там, где нет моего кадыка, не даёт говорить и дышать. Я не могу слышать этот визг — я всё же выдёргиваю пальцы и прижимаю руки к ушам, отшатываясь назад. В прохладную постель, подальше от тела и зеркальной воды.

Меня трясёт, мне жарко, мне холодно — шипение умолкло, и я медленно отнимаю руки от головы. Я смотрю на тело — оно закрыто шерстяным, серым одеялом, — и я не вижу, чьё у него лицо. Я вижу лишь крупную чёрную ползущую по полотну муху — её маленькие тоненькие ножки путаются в высоких торчащих из покрывала волосках.

Я долго смотрю на эту муху — она ползёт по одеялу и иногда замирает, словно чувствуя опасность, — я смотрю на свои руки, прежние, нормальные руки и поднимаю глаза на бегущую воду. В ней по-прежнему отражается моё лицо — лишь изредка, когда по воде идут разводы, оно напоминает лицо злобноглазого существа. Я не улыбаюсь себе и не отворачиваюсь. Я просто смотрю на себя, пока моё лицо не сменяется кафельной плиткой в ванной.

Тогда я понимаю, что пора вылезать.

Я вытаскиваю пробку — вода уходит ещё тихо, с неслышным шелестом — и насухо вытираюсь полотенцем. Я долго растираю свои распаренные пальцы, прежде чем вылезти из ванны. Когда я наконец вытерлась насухо — вода уже совсем ушла. Лишь на дне осталась мелкая мыльная пена, грязь да редкие волосы. Холодной струёй душа я смываю всё это в слив.

Я стою — сухая и чистая, завернутая в полотенце, — а напротив меня висит запотевшее овальное зеркало. Я жду недолго — скорее от непривычки, чем от страха — перед тем, как протереть его и взглянуть на своё отражение. Я протираю его пальцами и теперь — глядя на себя — чувствую на них влагу. Я смотрю на себя долго, очень долго — влага успевает высохнуть. Я вижу в отражении только своё человеческое лицо. Только своё — и ничьё больше. Я выхожу из ванной, закрываю за собой дверь и иду искать телефон.

Я слышу песенки вместо гудков, когда звоню Паше. На третьей мелодии он поднимает трубку.

— *Я не уверена, что существуют хорошие люди, мама. Я не уверена, что они существуют.*